

ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН

ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО НА
ГРАНИЦЕ ТЬМЫ

Владислав Петрович Крапивин
Золотое колечко
на границе тьмы
Серия ««Мемуарный» цикл», книга 2

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153485

Крапивин В. Золотое колечко на границе тьмы: Эксмо; М.; 2006

ISBN 5-699-17370-6

Аннотация

Этот сборник объединяет в себе произведения, созданные автором на протяжении нескольких десятилетий. В него вошли художественные и документальные повести-воспоминания, в которых переплелись эпизоды послевоенного детства автора и события взрослой жизни, истории создания книг и встреч с прототипами их героев на улицах разных городов...

Содержание

«ПОШЕЛ ВСЕ НАВЕРХ!» ИЛИ ЖЕРТВА ЭРУДИЦИИ	4
О пользе словарей	4
Последние глотки свободы	14
Четвертое сентября	24
Как лает собачка	34
Зачем бороться с песнями	41
Кони сытые бьют копытами!..	48
Как я редактировал Льва Толстого	56
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Владислав Крапивин

Золотое колечко на границе тьмы

«ПОШЕЛ ВСЕ НАВЕРХ!» ИЛИ ЖЕРТВА ЭРУДИЦИИ

О пользе словарей

Когда-то я был маленьким и ходил в первый класс. В самом этом факте нет ничего особенного. Почти все взрослые люди были в свое время первоклассниками или первоклассницами. Но я оказался первоклассником нетипичным. Неудобным для школы и для себя самого. Беда в том, что я слишком много знал.

Обширные знания иногда называют красивым словом “эрудиция”.

Это слово я впервые услышал еще до школы, летом сорок пятого года. От Володи Шалимова. Володя был старший брат моего соседа Лешки Шалимова, третьеклассника, который поддерживал со мной полуприяТЕЛЬСКИЕ отношения. Володя

учился в лесном техникуме. Он мечтал быть моряком, но в морское училище его не пустила медицинская комиссия, вот и пришлось выбрать сухопутную профессию. Видимо, на память о несбывшейся мечте Володя развесил у себя над кроватью синие географические карты и рисунки с кораблями, а по вечерам он со своим приятелем Витей Каблуковым строил модель парусника. Я часто сидел в его комнате и смотрел ни эту работу. И порой встревал в разговор, потому что гордился знанием кое-каких корабельных частей. Однажды я, наверно, вмешивался чересчур настырно, потому что Витя предупредил:

– Всякие салаги тут пусть сидят и не плачут. Иначе – долой с палубы.

А Володя сказал ему:

– Пусть рассуждает. Видишь, какой эрудированный ребенок.

Я тут же оскорбился:

– Чё обзываешься!

Володя, поблескивая черными ироничными глазами, объяснил, что он вовсе не обзывает меня, а хвалит. И кратко растолковал, что такое “эрудиция”. Но предупредил, что излишняя эрудиция не доводит до добра.

К последней Володиной реплике я отнесся с пренебрежением, ибо много раз слышал, что знания приносят одну только пользу.

– Не веришь? – удивился Володя. – Зря. Про это везде

написано.

— Где везде?!

— Возьми любой толковый словарь и прочитай, если умеешь.

Конечно, Володя был уверен, что никакого словаря у меня нет. Но в этом случае он просчитался.

Мой отец до войны преподавал русский язык и литературу. От него осталось немало толстых серьезных книг, в том числе и старинных. Среди них растрепанный, небольшой, но очень толстый “Энциклопедический словарь” Ф. Павленкова. Я любил его разглядывать, потому что на каждой странице было много маленьких, но четких и занимательных картинок: портреты, здания, кораблики, животные, растения, всякие машины. Я читал объяснения к этим картинкам. Одни были понятные, другие не очень, тогда приходилось спрашивать маму, брата или сестру.

Читал я в ту пору уже вполне бегло. Причем всякие “до-революционные” буквы меня не смущали. Мама объяснила мне, как обходиться со всеми этими ижицами, фитами и ятями, а также с твердыми знаками в конце слов, и скоро я просто уже не замечал их.

Именно этот папин словарь часто помогал мне расширять эрудицию, хотя до разговора с Володией я не знал, что это такое.

Особенно нравилась мне картинка, изображавшая центавра (или “кентавра”, как было отмечено в скобках). Муску-

листая лошадь, а вместо головы у нее – туловище бородатого человека. Человек натягивал маленький, круто изогнутый лук со стрелой.

Объяснение про centaвра-кентавра было непонятным, и я обратился к маме. От нее-то и услышал тогда кое-что о греческих мифах, где немалую роль играли эти люди-лошади.

– А маленькие кентавры были? – спросил я, вспоминая тонконового гнедого жеребенка. Он всегда трусил рядом с кобылой, которая привозила повозку с хлебом к ближнему магазину.

– Конечно, были и маленькие, – понимающе сказала мама. – Такие же прыгучие, как ты... Ну, беги скакать на двор, слышишь, там ребята играют...

За окном и правда раздавались голоса. Это Сёмка Левитин, Амир Рашидов, рыжий Толька Петров и его сестра Галка смастерили бумажных змеев и с ликующими воплями запускали их, бегали от ворот до помойки. Змеи были небольшие, типа “монах”, взлетали невысоко, но веселья было полным-полно.

Я выбежал и включился в эту летучую круговерть. Своего змея у меня не было, и я носился с приятелями просто так, за компанию. Перепрыгивал через лужицы, оставшиеся после ночной грозы.

Галкин “монах” не удержался в воздухе, сунулся бумажным клювом в траву. Галка остановилась, и я с размаха налетел на нее.

– Придурок, – сумрачно сказала Галка. – Скачет, как заводной козел...

Я не сразу выключил в себе солнечное настроение и радостно сообщил Галке, что “сама ты козел, а я – кентаврёнок”.

– Кто-кто? – Она свесила на обшарпанное плечо коротенькую тощую косу.

– Кентавренок, балда ты, – разъяснил я. – Маленький кентавр. Такие раньше были в старинной Греции. Наполовину кони, наполовину люди...

– Совсем псих, да? Никогда таких не было!

– Были!

– Щас как дам!

– Обратно отоваришься!

Мы стремительно подрались. Семка и Амир сохранили нейтралитет, а Толька пришел на помощь сестрице. Силы оказались явно неравные, и я пустился к своему крыльцу. Захлопнул перед Галкиным носом дверь. Потом размазал по щекам слезы и стал из кухонного окна показывать недругам язык.

Галка плясала на одной ноге и противным голосом пела тут же сочиненную частушку:

Кентаврёныш-кентаврёт!
Потому что много врёт!

При этом она противно картавила. Толька ей подпевал.

Самое поганое, что Семка и Амир в конце концов присоединились к сестре и брату Петровым. Пели уже в четыре голоса.

Очевидно, мое совсем не героическое бегство с поля битвы отвратило от меня бывших приятелей. По крайней мере, на ближайший час...

Уже в тот день мне следовало бы понять: выставление напоказ лишних знаний чревато неприятностями. Но я не сделал нужного вывода...

Не поверил я и Володе Шалимову, когда он предупредил, что эрудиция в чрезмерных дозах сулит всякие осложнения.

Я взял словарь и открыл страницу со словами на букву “Э”. И нашел, что хотел: “Эрудиция – глубокая и многосторонняя ученость”.

Вот и все! Коротко и ясно. Никакого намека, что ученость эта приносит несчастья! Володька по своей привычке, видимо, просто подразнил и попугал меня.

Я еще раз прочитал про “эрудицію”, и вновь слегка возгордился. Что ни говорите, а я и правда в свои неполные семь лет знал немало.

Сейчас-то я понимаю, что мои тогдашние знания были не без пробелов. Причем пробелы могли быть самые неожиданные. Вот один пример. Я знал, что название “помидор” происходит от итальянских слов “помо де оро” и это означает

“золотое яблоко”, но в то же время я был уверен, что словом “томат” называют жестяные банки для рыбных консервов. Потому что все консервы были “в томате”. Правда, сами консервы в то голодное время я пробовал редко, но у меня было много длинных бумажных наклеек для банок – со всякими рыбами, разноцветными буквами, синими волнами и корабликами. Эти наклейки дарил мне мамин знакомый Артур Сергеевич. Он работал тогда на рыбокомбинате, носил китель с серебряными морскими пуговицами и капитанскую фуражку с бело-зеленым флажком – вымпелом промысловых судов...

Однако я отвлекся. Речь шла о неприятностях, связанных с моей эрудицией.

Мои познания распространялись и на такую важную сферу жизни, как школа. Правда, сам я туда еще не ходил, но сведений о школьных делах имел предостаточно. Кое-что от старшей сестры и брата, кое-что из книжек, но прежде всего – от Лешки Шалимова, который тянул ученическую лямку уже три года.

Из Лешкиных рассказов следовало, что в школе надо держать ухо востро и соблюдать массу правил. Не тех “Правил для учащихся”, что висят в рамке на стене (они-то как раз “по фигу”), а таких, чтобы не оказаться в дурачках и не заработать лишних шишек.

Прежде всего запрещается быть нытиком. Если получил двойку (а без этого не проживешь), нельзя пускать слезы, а

надо садиться на место с равнодушным зевком или насмешливой улыбкой. Мне, мол, на это начхать.

Когда на перемене достаешь свой хлеб, взятый из дома для завтрака, следует быстро сказать: “Двадцать один – ем один”. Иначе кругом заголосят: “Сорок семь – делишь всем!” И тогда попробуй не поделиться! Станешь навеки жадиной, обжорой и буржуем.

Если будешь чересчур послушным, попадешь в подлизы. Станут дразнить: “Лиза-под, Лиза-под, понимай наоборот”. Но это еще не самое страшное. Хуже всего сделаться “определителем”. Тогда не говорили “жаловаться” или “ябедничать”, говорили “определять”...

Вообще в школе многое именовалось не так, как в обычной жизни. Прямо хоть особый словарь составляй. Учительница называлась “чикла”, директорша – “дрыкла”, арифметика – “арифа”, физкультура – “физра”, чернила – “синька”, любой головной убор (кроме пилотки) – “кемель”. Пинок под зад – “пендаль”, штаны – “шкеры”, голова – “кумпол”, портфель – «чума» (сокращенно от чумадан).

– Крынка, то есть Люська Крылова, определила, подлюка, что я ей из резинки по кумполу стрельнул, а чикла меня хватить за шкеры и в кабинет к дрыкле. А та как заорет: “Будешь после уроков два часа сидеть! А еще раз повторится – засажу аж до черного вечера!...” И чуму отобрала, чтобы не сбежал.

Таких вот ужасных наказаний я боялся заранее. Наслу-

шавшись Лешкиных рассказов, я впадал в тоскливые раздумья по поводу горькой судьбы учеников начальной школы А потом начинал себя успокаивать.

Может, все не так уж страшно?

Двоек я не боялся. Надеялся, что эрудиция поможет мне стать если не отличником, то хотя бы ударником. Жадничать и определять я, конечно, не стану, подлизываться тоже. Не стану и стрелять из резинки ни по чьим кумполам. Следовательно, не за что будет оставлять меня после уроков на два часа. И тем более до черного вечера. Потому что этого я бы не вынес.

Дело в том, что всякий отрыв от дома был для меня мучением. Такой вот я уродился. В свое время дважды пытались устроить меня в детский сад, но оба раза я выдерживал там не больше месяца. Тосковал то тихо и безнадежно. то с ревом, скандалами и попытками бегства. Соглашался целыми днями сидеть дома в одиночестве, пока мама на работе, а брат и сестра в техникуме, лишь бы не отправляться в ужасную детсадовскую неволю.

Помимо тоски по дому, меня угнетала именно эта неволя. Необходимость идти туда, куда не хочется, делать то, к чему не лежит душа. Угнетала чужая власть, которая заставляет тебя спать, гулять, играть в соответствии с распорядком, а не с твоим желанием...

Я догадывался, что в школе буду подчинен той же власти. Только еще более суровой. Потому что детский сад – заведе-

ние все-таки не обязательное, а от школы никуда не денешься. И это ощущение обреченности поселилось во мне уже в середине лета, когда разговоры о школе стали частыми.

Однако я прятал свои чувства. Я понимал, что есть жизненные правила, которые следует неукоснительно выполнять. Известно, что все нормальные дети радуются поступлению в первый класс, и я делал вид, что радуюсь тоже. Обманывал не только взрослых, но в какой-то степени и самого себя. Потому что порой появлялось нервное возбуждение, которое в самом деле напоминало радость. Возможно, это похоже на чувство молодого бойца перед первой битвой. Мама, сестра и брат были уверены, что я о ч е н ь хочу в школу.

– Ты станешь необыкновенным первоклассником! – радостно пообещала мне сестра, которая все школьные годы была отличницей.

Последние глотки свободы

Увы, необыкновенность моя началась с того, что первого сентября в школу я не пошел. Оказалось, что я совершенно разут.

В последнюю неделю августа окончательно развалились мои заслуженные друзья – сандалии. Несколько дней я бегал босиком. А к учебному году припасены были скрипучие желтые ботинки. Заграничные. Отец прислал их из Германии, он дослуживал там свой послевоенный офицерский срок. Прислал вместе с пачкой лощеных немецких тетрадок, тремя пестрыми вязаными шапочками и какими-то вещами для мамы. Мама ботинки сразу спрятала – для школы.

А вечером тридцать первого августа оказалось, что ботинки мне безнадежно малы.

– Когда твои лапы успели так вырасти! – в отчаянии сказала мама. – Что же теперь делать?

Я переступил босыми ногами и с деланной горечью потупился.

Осторожно, боясь, что я не вынесу огорчения, мама проговорила:

– Ты уж потерпи еще денек, посиди завтра дома. А я попрошу Ивана Григорьевича заменить мой юбочный ордер на обувной. Может, завтра же и получу на тебя ботинки.

Тогда одежду и обувь часто получали по ордерам на скла-

дах, такое правило осталось от военной поры.

Я, сохраняя траурное выражение лица, кивнул. А в груди моей теплело от благодарности судьбе, которая прибавила еще один день к моему беззаботному дошкольному детству...

Этот день был солнечный, вполне летний, но без жары. С ласковым пушистым теплом. Помню, что ощущение пушистости возникало у меня от невесомых, с длинными белыми волосками, семян, которые плавали в тихом воздухе. Иногда они касались моих щек.

Эти семена – от высоких городских сорняков, которые растут вдоль заборов. Не знаю, как эти растения называются. Про себя я всегда называл их белоцветом. В августе головки белоцвета лопаются, пухнут, семена расправляют волоски-лапки и отправляются в неспешный полет. Они – признак присмирившего, уходящего лета... Белоцвет и сейчас растет у забора, окружающего заброшенную стройку рядом с многоэтажным домом, где я нынче живу. Белые семена-паучки залетают на балкон и напоминают про тот день – первое сентября сорок пятого года.

Тогда эти семена висели в воздухе неподвижно. Медленно-медленно садились они на поверхность лужи, которая голубела у щелястого забора – он отгораживал от нашего двора кирпичный магазинчик ("хлебный распределитель"). Лужа эта была почти постоянная. Высыхала она лишь в самые

знойные июльские дни.

В тенистом углу позади дровяника я набрал влажной глины, слепил из нее остроносый линкор с орудийными башнями и с пушками из обломков прутика. Затем отыскал у поленицы широкую щепку. Поставил на нее линкор и пустил в лужу. Плоская темная щепка оказалась на одном уровне с водой и сделалась почти незаметна. Полное впечатление, что линкор плывет сам по себе. И я начал отправлять его в рейсы от одного края лужи к другому.

Глиняный корабль выглядел вполне по-военному, однако настроение мое было мирным. Я то шлепал по луже следом за линкором, то сидел на корточках у края воды и смотрел, как от плывущего корабля разбегаются солнечные зигзаги. Или следил за семенами белоцвета. Было мне на просторном безлюдном дворе хорошо и спокойно. Я чувствовал себя даже счастливым. Но таилась в моем настроении и печаль. Я понимал, что счастье мое недолговечно и призрачно. И утешал себя тем, что этот ласковый и вольный день кончится еще не скоро.

Над забором, на невысоком телеграфном проводе, обесиленно и неподвижно повис змей-монах с тощим мочальным хвостиком. Он был как символ прошедшего лета и как напоминание, что бесполезно бороться с судьбой. Я поглядывал на него по-дружески, понимающе.

Здесь, у лужи, меня увидели Семка Левитин и Галка Петрова, которые вернулись из школы. (Галкиного брата, рыже-

го Только, в первый класс не взяли, не хватило возраста.)

– Чё не был в классе? Про тебя чикла спрашивала, – сообщил Семка с небрежностью школьного ветерана. Этот его тон никак не вязался с внешностью новичка-первоклассника: Семка был в жестком, со складками, матросском костюме-чике и с блестящим остроугольным портфелем (чумой!). Галка тоже выглядела необычно нарядной: в синем с белыми горошинами платье и с голубыми ленточками в жиденьких косицах. У нее были значительно поджаты губы.

Я принял вид человека, умудренного жизненными трудностями. Подбородком показал на Семкины новые полуботинки.

– Тебе хорошо, успели обувь достать. А я без ничего. Вот обменяет мама ордер, тогда уж...

Семка сочувственно, кивнул:

– Ну, не беда. Мы еще не так уж много выучили, догонишь...

– А мы много чего выучили! – возразила Галка. – Песню про Сталина пели и рисовали ёлочки. А послезавтра будем уже букву а изучать.

– И мы тоже! – подскочил Семка.

– Вы разве не в одном классе?

Оказалось, что Семка в первом «А» – в том же, куда записан и я. А Галка – в первом "Б".

Я усмехнулся с превосходством эрудированного человека:

– Ты, Галка, наверно, свой класс и не найдешь. Ты же бук-

ву «а» не изучила и от «б» не отличишь...

Галка обиделась:

– Совсем тупой, да? Думаешь, я не запомнила, где у нашего класса дверь?

И она, фыркая, удалилась.

Самое забавное было то, что и Галка, и Семка знали все буквы и даже могли читать по складам. Но одно дело знать просто так, а другое и з у ч а т ь. Я улавливал эту разницу и ощутил что-то вроде зависти.

Семка между тем обратил внимание на линкор.

– Это немецкий?

– Сам ты немецкий! Это "Марат". Линкор Советского Союза.

– Немецкий. У него башня кривая.

– Сам ты кривая!

– Щас мы его разбомбим... – Семка подхватил с земли осколок кирпича и пустил в линкор, который приткнулся к дальнему берегу лужи. Я оттолкнул Семку плечом и бросился спасать свой корабль. В обход водоема. Семка успел пустить еще два снаряда. Но ни разу не попал.

Я выхватил линкор из воды, прижал к груди.

– Чё раскидался! Ты его делал? Сделай, а потом бомби!

– А тебе жалко?

– Жалка у пчелки...

– Жадина-жила!

– Моряк – с печки бряк!

Семка ехидно скривил пухлую физиономию и пропел:

Жила, жила-крокодила,
Поменял г... на мыло!

– Значит, э т о м у вас сегодня учили? – язвительно спросил я.

Семка помолчал, подумал и зловеще пообещал:

– Только приди к нам в класс. Я ребятам скажу, все тебя лупить будут.

Ах ты, обезьяна толстая! Еле умеет отличать «а» от "б", а туда же: "Наш класс!"

Поддавшись мстительному вдохновению, я запустил в Семку щепкой с линкором. Щепка пролетела мимо. Линкор сорвался и угодил в лужу у Семкиных ног. Взметнулся язык мутной воды, грязные капли щедро окропили Семкину матроску.

Семка посмотрел на влажные пятна и кругло открыл рот. Я приготовился драпать. Семка значительно превосходил меня по весу, и к тому же я понимал, что обида за перепачканный костюм придаст ему дополнительные силы. Но Семка постоял и... заревел. Ровно и басовито. И пошел, оглядываясь и что-то непонятно выговаривая сквозь слезы. Я смог разобрать лишь слово "попадет". Неясно было: то ли ему попадет за перепачканную матроску, то ли мне – за мой подлый поступок.

– Так тебе и надо! – сказал я вслед.

Но никакого злорадства я не ощутил. Наоборот, был даже подавлен. Конечно, Семка сам виноват, нечего было бомбить чужой линкор, да еще и нахально обзывать его немецким. Но в глубине души мне Семку было жаль. Потому что вот если бы я сам пришел из школы такой, во всем новеньком, и меня бы грязью... Но больше жалел я не самого Семку, а его матроску. Матросский воротник и якоря всегда были для меня символом флота, кораблей и путешествий, и теперь я словно обдал мутной водой что-то свое, любимое...

Приунывший, вернулся я домой, забрался с перемазанными ногами на кровать и, чтобы утешиться, стал читать книжку "Побежденный Карабас" – продолжение "Золотого ключика" о приключениях Буратино в Ленинграде.

Затем я раскупорил закутанную в ватник кастрюлю с макаронами и пообедал.

После этого я на обороте длинных консервных этикеток рисовал кораблики на волнах, улицу сказочного города и лес, в котором прятались избушки на курьих ногах и лешие.

Пришла мама. Со вздохами сообщила, что неизвестный мне Иван Григорьевич обменять ордер категорически отказался.

– Завтра пойду на толкучку. Может быть, продам твои ботинки и куплю другие, побольше.

– Значит, это что же? – изобразил я крайнее огорчение, а душа моя радостно замерла. – Завтра опять в школу не пой-

ду?

– Но ведь завтра воскресенье.

Вот как! А я про это совсем забыл! Какое счастье! Еще целые сутки свободы!

...Назавтра я помирился с Семкой. Он зла не помнил, про костюм небрежно сказал:

– Ништяк, все высохло и отчистилось...

Мы вместе играли в партизан среди длинных поленниц на нашем дворе и договорились, что в классе сядем за одну парту, "если только чикла не зашипит, а то она велит каждому пацану сидеть с девкой".

И опять был длинный безмятежный день. Но к вечеру снова надвинулось на меня ощущение неизбежного. Так сильно, что я, спасаясь от этого чувства, раньше обычного улегся спать. А у кровати стояли новые ботинки, которые мама принесла с толкучки. Они лишали меня всех надежд.

Утром я проснулся очень рано. И с возбуждением человека, который спешит навстречу неминуемой опасности, кинулся будить маму.

– Мы опоздаем в школу!

И тут опять случилось чудо. Сонно зевая, мама сказала, чтобы я не волновался. Вчера вечером передали по радио радостное сообщение: капитулировала Япония, с которой у нас в ту пору была война. Теперь война кончилась, и третье сентября будет нерабочим днем, потому что всенародный праздник.

Нет слов, чтобы описать мою благодарность Японии, которая столь вовремя сдалась на милость победителя!

Вообще-то японцы были, конечно, враги. Они еще до войны лезли на нас – на Халхин-Голе и на озере Хасан. То и дело насылали шпионов и диверсантов. Хорошо, что границу охранял храбрый пограничник Карацупа, а то бы совсем беда.

У Володи Шалимова была книжка "Морская тайна" – про то, как злодеи с японского подводного крейсера "Голубое солнце" захватили в плен наших моряков и чуть их не расстреляли. Но наши все равно победили и вырвались на свободу. Эту книжку читал мой старший брат Сережа и пересказывал мне.

Была про злых японцев и песня: "В эту ночь решили самураи перейти границу у реки..." Правда, потом, через много лет, стали петь не "самураи", а "вражья стая". Тем более что и фильмы японские появились – "Знамена самураев", "Семь самураев" и другие – там эти воины были совсем положительные, храбрые, за бедных заступались...

Но и в сорок пятом году такого зла, как на немецких фашистов, на японцев я не помню. Взрослые в своих разговорах их даже жалели, когда американцы бросили две атомные бомбы. А в тот день, третьего сентября сорок пятого года, я испытывал к Стране Восходящего Солнца просто нежные чувства. Мало того, новый подарок судьбы породил во мне надежду на дальнейшие удачи. Я был почти уверен, что

вот-вот случится еще что-нибудь радостное и назавтра опять объявят праздник.

Почему-то больше всего я рассчитывал, что поймают и повесят Гитлера.

В то время многие не верили, что Гитлер покончил с собой в конце войны. Ходили слухи, что он где-то скрывается. Мне казалось, что скоро его обязательно изловят и тут же отправят на виселицу при всеобщем ликовании. И, безусловно, будет опять нерабочий день.

Однако к вечеру стало ясно, что бывший фюрер пока не дал себя поймать. Я расценил этот факт, как еще одно его злодеяние, направленное теперь не только против человечества, но и против меня лично.

А затем неотвратимо пришло утро четвертого сентября. Серенькое, с морозящим дождиком, под стать моему настроению.

И я пришел с мамой в школу. В начальную, номер девятнадцать, что была в трех кварталах от моего дома, на улице Ленина, рядом с красивой церковью – на ее белую башню я любил смотреть со своего крыльца. Но сейчас меня и эта башня не радовала...

Четвертое сентября

Портфель или сумку для меня купить не сумели, я нес букварь и пенал в пакете от патефонной пластинки. В круглое отверстие выглядывало лицо веселого первоклассника, напечатанного на обложке букваря. Этот прилежный разноцветный мальчик своим видом словно старался восполнить недостаток моей собственной радости.

На мне была вязаная шапочка с помпоном – одна из тех, что прислал отец.

Школа была в полтора этажа, с полуподвалом. Кирпичная, побеленная, старинной постройки, с узкими высокими окнами. На просторной полутемной лестнице с точеными перилами толпилось множество ребят. Дежурные почему-то никого не пускали наверх. Это было первое нелепое школьное правило, с которым я столкнулся. Почему люди не могут спокойно идти в свои классы, должны долго томиться на ступеньках, а потом с воплями толпой устремляться наверх?

Было тесно. Я вдохнул незнакомый, тоже «школьный» запах, и у меня заскребло в горле. Я покрепче ухватил маму за руку, хотя понимал: хватай не хватай, а все равно...

Но тут рядом оказался Лешка Шалимов, уже четвероклассник. Он иногда умел быть добрым и понимающим. Шепнул:

– Не бойся... – Вернее, он выразился покрепче, на знако-

мом мне уличном диалекте. От этой грубоватой ласки стало легче дышать...

В классе печаль моя совсем развеялась. Что ни говорите, а новизна обстановки всегда бодрит. К тому же облака разорвались и в окно глянуло солнце, обещая еще один теплый день.

Многое оказалось для меня неожиданным. Например, печка-голландка в углу класса. Мне понравилось, что дверца у нее почти такая же, как у нас дома, в проходной комнатке, где жил мамин брат – дядя Боря.

Вызвала удивление и учительница.

Я думал, что учительницы все высокие, молодые, с красивыми прическами и громкими строгими голосами. А Прасковья Ивановна была совсем простая тетенька, похожая на нашу соседку тетю Иру, домохозяйку, которая держала в сарае корову и торговала молоком. Но это мне даже понравилось.

Правда, сесть мне и Семке за одну парту Прасковья Ивановна не разрешила. А когда Семка заспорил, она предупреждающе сказала:

– Со-ло-мон! Я напишу маме записку...

Я опять удивился. Почему мой приятель – Соломон? Он был Сёмка, Семен, это все на нашей улице Герцена знали. Может, в школе каждому назначают какое-то особое имя?

А как будут звать меня?

Но меня Прасковья Ивановна назвала привычно:

– Славик, садись вон за ту парту, с Валею Малеевой...

Что делать, я сел. Ничего, Валя как Валя. Вроде спокойная, не задиристая, улыбнулась по-хорошему...

Прасковья Ивановна всем напостила, как надо вставать и садиться, как поднимать руку, если хотим о чем-то спросить, и прочие школьные премудрости. А дальше началось то, что сломало все мои представления об учебных занятиях. Прасковья Ивановна сообщила:

– Сейчас будем писать палочку.

Я ничего не понял. Что значит "писать палочку"? Вся моя эрудиция не могла дать ответа на этот вопрос. И я решил в конце концов, что нам предстоит писать слово "палочка".

Почему так?

Мне доподлинно было известно, что в школе сперва пишут "мама", "рама", «Лара» и тому подобное. И вдруг такое сложное слово!

Ну ладно, учительнице виднее. Но только получится ли у меня? Прописи я знал слабо. Хотел уже поднять руку и спросить, можно ли будет писать печатными буквами. Но в последний момент решил подождать.

И правильно сделал.

Прасковья Ивановна раздала нам карандаши и бумагу – каждому половинку тетрадного листа. Бумага была расчерчена косыми клетками.

Прасковья Ивановна подошла к доске.

– Все взяли карандаши. Держим правильно, свободно, как

я вас учила, не стискиваем. Не скрючиваем пальцы... Соломон! Возьми карандаш, я сказала! И Тонкошеев! Ты второй год в первом классе, пора бы уже научиться. Теперь все попробуем нарисовать палочку. Начинаем вот отсюда, из угла верхней клеточки... и потянули вниз. Вот та-ак...

Мел закрипел по доске, расчерченной так же, как бумага. Посыпалась белая пыль. Появилась черта. Потом рядышком еще одна.

– Вот та-ак... Все старайтесь.

Первый «А» засопел над клочками бумаги.

– Зачем это? – с тихим недоумением спросил я у соседки.

Умная и серьезная Малеева шепотом объяснила:

– Учимся буквы писать. По частям.

– А-а... – дошло до меня.

– Никто не разговаривает, все пишут... Соломон!

Я склонился над бумагой и лихо изобразил на косых линейках частокол из разнокалиберных палок. Подумаешь, наука!

Прасковья Ивановна ходила мимо парт. Наклонилась над нашей.

– Молодец, Валя... А тебе, Славик, надо быть поаккуратнее. Смотри, как написано на доске.

Я строптиво повел плечом, потому что всегда болезненно относился к критике.

На втором уроке мы изучали букву «а» (правду говорили в субботу Галка и Семка!). Разглядывали ее в букваре, назы-

вали слова, которые с этой буквы начинаются. Прежде всего, конечно, "арбуз", который я ни разу в жизни не пробовал. В те времена арбузы в наш город не привозили: до того ли, когда хлеб по карточкам. Потом мы хором изображали, как кричит мальчик, когда уколёт палец:

– А-а-а!

Это было самое интересное. Только непонятно, почему мальчик! Девчонки чаще орут, если больно.

– А я кричу "ой-ёй-ёй!" – заявил маленький быстроглазый Боря Демидов (мы с ним когда-то были в одной группе детского сада).

– Кто будет кричать неправильно, пойдет в угол, – утомленно пообещала Прасковья Ивановна. – И маме сообщу. Вот тогда будет "ой-ёй-ёй"...

Вот так-то! Даже если тебе больно, кричать здесь надо по правилам. В школе все по правилам...

А на третьем уроке началась вообще какая-то чепуха. Прасковья Ивановна вполне серьезно стала объяснять нам, что значит «меньше» и "больше". Она показывала два кубика – один с коробку "Казбека", другой со спичечный коробок – и спрашивала:

– Кто скажет, который кубик больше? Поднимайте руки, не выкрикивайте... Витя!.. Правильно говоришь, молодец. А какой кубик меньше?.. Вова Панкратов!.. Верно, садись...

Потом – то же самое с длинным и коротким карандашами, с крупным и мелким яблоками (они были, конечно, ненасто-

ящие)...

– А кто скажет, что больше: «один» или "два"?

Я тихо изумлялся. Неужели Прасковья Ивановна за дураков нас принимает? Даже годовалый ребенок умеет отличить большое от маленького. Неужели такие вещи надо изучать в школе?

Но мои одноклассники добросовестно поднимали руки, радуясь легкости вопросов и своему умению отвечать без-ошибочно.

А Боря Демидов опять нарушил правила. Нетерпеливо покачал поднятой рукой и сообщил:

– Бывает, что один больше, чем два. Один слон больше двух лошадей...

Прасковья Ивановна сказала, что это пока слишком сложный для нас вопрос арифметики.

– Вы будете проходить это во втором классе... Соломон, перестань толкать соседку... Сейчас будет звонок с урока. Все тихонько возьмут портфели, встанут парами и пойдут со мной на двор.

Двор был просторный. Летом его не топтали, и всюду росли подорожники и мелкая городская ромашка. А по краям подымались заросли крапивы и белоплота. Гуще всего – у дальнего кривого забора, где стояла дощатая уборная. Двор лежал между школой и стройной церковью, чья башня, как белый маяк, высоко уходила в небо. А небо, кстати, опять было безоблачным, ласковым. От улицы двор отделяла вы-

сокая церковная ограда с кирпичными столбами и железными копиями. У этой ограды все сложили сумки и "чумы". А я – свой "дырчатый футляр".

Прасковья Ивановна велела нам встать в круг. Началась игра "третий-лишний". Ну, игра как игра, знакомая еще по детскому саду. Я беззаботно бегал и прыгал, как и остальные. пока не увидел, что у калитки стоят мой брат Сережа и Володя Шалимов.

Ура! Значит, школьный день закончился! Я вышел из круга, подобрал свой бумажный футляр и громко заявил:

- Прасковья Ивановна, я пошел домой! До свиданья!
- Подожди, еще нельзя! Занятия еще не кончились!
- Как это не кончились, если за мной пришел Сережа!
- Сережа подождет! Сейчас урок физкультуры!
- Ну что за глупости вы говорите! – искренне удивился я.
- Какой же это урок!

Будучи эрудированным ребенком, я знал, конечно, что бывают уроки "физры". Но был уверен, что они, как и все остальные, проходят в классе. На них, думал я, выучивают названия всяких футбольных команд, читают про спортивные соревнования и знаменитых чемпионов. Потому что это же у р о к. При чем тут бегалки-прыгалки? А если класс вывели на свежий воздух и устроили игру – это уже послеурочное время, развлечение перед тем, как за нами придут из дома старшие. Не бывает уроков на дворе!

С футляром под мышкой и с полным сознанием своей

правоты я двинулся к калитке.

Прасковья Ивановна ухватила меня за руку.

Меня! За руку! Насильно!

В ту пору даже эрудированным людям не было известно выражение "права человека". Но то, что эти права должны соблюдаться, я с малых лет ощущал инстинктивно. Если, например, брат или сестра сгоняли меня с кровати ("не читай лежа!") или, наводя порядок, стряхивали со стола моих бумажных солдатиков, я негодуя орал:

– Ка-ко-е вы имеете право, паразиты!

А тут не брат, не сестра, а посторонняя женщина ухватила меня и держит!

Не стерпев насилия, коротко взревел я и вырвался.

– Как ты смеешь не слушаться учительницу!

Неужели она думает, что я обязан подчиняться ей во всем и даже продолжать эту глупую игру, когда за мной пришел старший брат?

Это лишь в армии рядовые бойцы должны выполнять абсолютно все приказы командиров. Но там дело военное, они присягу давали. И я с полным знанием вопросов иерархии заявил своей первой учительнице:

– Вы не командир, а я не рядовой!

Подскочивший Сергей пытался мне что-то объяснить, а Володя иронически хмыкал. Но распаленный праведным гневом, я не внял и доводам старшего брата. Если он с чиклой заодно, наплевать и на него! Я вышел из калитки и заша-

гал по деревянному тротуару. Дорогу к дому я знал отлично.

Меня не держали. Но в этот день, четвертого сентября тысяча девятьсот сорок пятого года, я впервые услышал слова, которые потом, увы, слышал неоднократно. И которые в свою ученическую пору слышат очень многие люди:

– Завтра без мамы в школу не являйся!..

Впрочем, все обошлось. Дома меня не ругали, и мама, когда пришла на обед, даже подарила мне десять рублей: в награду за первые школьные труды. А потом (как я узнал позже) сходила в школу, и они с Прасковьей Ивановной повздыхали и посмеялись над строптивостью неотесанного первоклассника.

А я с братом пошел на толкучку и, отдавая дань еще не забытому дошкольному детству, купил у щетинистого старика игрушку: тележку на палке. Когда ее катили по тротуару, над колесами вертелись маленькие пестро раскрашенные кольца. На скорости они превращались в разноцветные шары. Замечательная была тележка....

На следующий день Прасковья Ивановна не вспоминала о нашей ссоре. Тем более что я потерпел от школы первый урон. Накануне я забыл в парте свою вязаную шапочку. Когда спохватились и брат прибежал в школу, шапки в парте не оказалось. Спёрли.

Забегая вперед, скажу, что в течение недели я посеял еще две таких шапочки, после чего стал ходить в школу в большой выгоревшей пилотке, которую подарил мне Лешка Ша-

лимов. Он же отыскал в своем хозяйстве старый клеенчатый ранец с полуоторванной крышкой. Дядя Боря суровыми нитками пришил крышку, и я, избавившись от футляра с дырками, стал совсем такой же, как другие первоклассники тюменской начальной школы номер девятнадцать. По крайней мере, внешне.

Но излишняя эрудиция еще не раз портила мне жизнь.

Как лает собачка

На уроке чтения проходили букву "у".

– Как гудит паровоз?

– У-у-у!..

– Хорошо. А теперь из буквы «у» и буквы «а» составим два слова. Как плачет маленький ребенок?

– Уа-а-а! – догадливо выл наш первый "А", потому что на этот счет была в букваре картинка и соответствующая подпись.

– Правильно. Только тише... А кто знает, как кричат дети, когда заблудятся в лесу?

Знали все:

– Ау-у-у!!

– Верно. Только надо не кричать хором, а поднимать руки...

Боря Демидов поднял руку. И сообщил, что когда он летом отстал от взрослых в бору под деревней Падерино, то кричал не "ау!", а "мама!". С перепугу. Хотя мамы в лесу вообще не было, а были бабушка и тетя Зина.

Прасковья Ивановна снисходительно согласилась:

– Бывает и так. Но словом «мама» мы займемся позже, когда познакомимся с буквой "м-м-м"... Тонкошеев! А ты почему опять глазеешь в окно и не участвуешь в уроке? Хочешь остаться на третий год?

– Не-а, не хочу, – сказал Тонкошеев.

– Если будешь зевать и отвлекаться, поставлю у доски на весь урок.

– Ладно, – покладисто сказал Тонкошеев. Он считал неразумным ссориться с «чиклой» по пустякам.

Второгодника Серегу Тонкошеева мы уважали. Он был самый большой среди нас. Даже суровые четвероклассники милостиво брали его играть в чикку, когда затевали это запретное дело в узком пространстве между забором и поленницей, недалеко от уборной. Нам же, "мелкокалиберным", дозволено было лишь молча наблюдать за звонкой азартной игрой, ибо не было у нас ни опыта, ни медных денег в карманах, да и сами-то карманы имелись не у каждого...

Не знаю, почему у Сереги не ладилось с учением. Вообще-то он был совсем не дурак, а в житейских вопросах проявлял просто взрослую мудрость. К нам, своим одноклассникам, относился он беззлобно. Учил полезным вещам. Например, как из катушки от ниток, резинки и палочки сделать заводной трактор, а из куска киноплёнки – звонкую щелкалку.

В кармане длинных мешковатых «шкер» Серега носил пугач, сделанный из медной загнутой трубки и гвоздя. Однажды он пальнул из этой штуки за уборной, в окружении восхищенных зрителей. Правда, кто-то на него "определил", и пугач отобрали, но Тонкошеев сказал «ништяк» и на следующий день принес новый.

Свою силу Серега к нам не применял. Только один раз надавал пинков Семке Левитину, который отказался делиться хлебом и ливерной колбасой, хотя было сказано: "Сорок семь – делим всем!"

Несмотря на обширные пробелы в школьных знаниях, с буквой «у» Тонкошеев был, конечно, знаком. Поэтому скучал. Я тоже скучал на всех уроках чтения. И смотрел сквозь стекло во двор. Там белела стена церкви с двумя рядами узких окон. Окна были окружены лепными украшениями. Я (эрудированный ребенок) знал, что это называется "барокко". В окнах виднелись кованые решетки с завитушками. За ними была темнота, и в ней неярко, словно свечки, искрились желтые лампочки. Я знал, что церковь называется еще и по-другому – "храм". И то, что в ней после революции, когда отменили бога, сделали библиотеку, было мне понятно. Я читал где-то, что библиотека – это "храм знаний". В здешнем храме знаний был детский отдел, мама записала меня туда, и я уже взял книгу "Каштанка". И за два вечера прочитал ее.

Я стал размышлять о Каштанке. Она мне нравилась. И я был рад, когда нашлись ее прежние хозяева – столяр Лука Александрыч и его сын Федюшка – и она с ними отправилась домой. Но все же было жаль, что Каштанка не стала цирковой артисткой. Разве нельзя было договориться, чтобы она жила дома, а Федюшка по вечерам приводил бы ее в цирк на работу? Сам бы заодно мог бесплатно смотреть все представления...

Задумавшись, я вовсе отвлекся от урока.

Это происходило уже не в тот день, когда «уа» и "ау", а позже.

Вытряхнул меня из задумчивости вопрос Прасковьи Ивановны:

– А теперь кто мне скажет: как лает собачка?

Это было словно продолжение моих мыслей о Каштанке. О собачке!

Я вскинул руку и затряс ею от нетерпения! Я знал, как лает собачка!

Во всем нашем квартале на улице Герцена – от Первомайской до улицы Дзержинского – не было пацана, который бы лучше меня мог изобразить собачий лай. Когда я ради забавы заливался веселым дворняжечьим тьявканьем или начинал размеренно гавкать, как пожилая, уставшая от трудов овчарка, по всем дворам откликались окрестные псы.

Этот «собачий» талант был частью моей эрудиции.

Лишь бы Прасковья Ивановна вызвала меня! Уж здесь-то я сумею показать, на что способен! Это не нацарапанные карандашом палки и крючки на тетрадной бумаге, которые никак не хотели меня слушаться и выстраивались на линейках столь же бестолково, как наш класс на зарядке, которую мы делали на дворе перед уроками...

– Ну хорошо, пусть скажет Славик...

Я вскочил и набрал в грудь воздух. И для начала выдал рассыпчатое, скандальное лаянье шпица Марсика, кото-

рый жил в конце квартала, в доме хирурга Сазонова. Потом откликнулся на него хриловатым, но жизнерадостным голосом полубеспризорного коротконогого кобеля по кличке Моряк, обитавшего у нас во дворе. Затем изобразил гулкое гавканье сторожевого Джека, сидевшего на цепи у крыльца моей хорошей знакомой Галки Лазарчук. И завершил эту собачью кантату дурашливым щенячьим "ав-тяф-тяф-ррр", словно расшалившийся трехмесячный Шарик загнал на забор соседскую кошку и веселится от души.

После этого я замолчал, чтобы снова набрать побольше воздуха. И услышал какое-то нехорошее молчание класса. И увидел поджатые губы Прасковьи Ивановны.

Деревянным голосом Прасковья Ивановна сказала:

– Нет. Собачка лает не так. Сядь... Кто скажет правильно?... Скажи, Соломон.

Я ошеломленно плюхнулся на скамью. А Семка поднялся и добродетельным голосом произнес:

– Собачка лает: "Ам! Ам!"

– Молодец. Садись.

Что же такое? Я с великой жадой правды глянул на соседку Вальку Малееву. Она была честная и справедливая. Но и она сейчас меня не поддержала. Сказала одними губами:

– Эх ты... В книгу гляди...

Перед Валькой лежал раскрытый букварь. Там была картинка: румяный мальчик высоко поднял не то горбушку, не то пряник, а под рукой у него подпрыгивала кудлатая со-

бачонка. Подобный рисунок я потом не раз видел на конфетных фантиках "Ну-ка, отними!". А здесь было написано: "Ам".

Но это же совсем другое дело! «Ам» – это когда кто-то что-то слопал. Например, в детской книжке-раскладушке жаба проглотила комара: "Ам!". Или соседка тетя Тася уговаривает годовалого Вовку: "Кушай кашку. Давай быстренько открой ротик и – ам!"

При чем здесь собачий лай! Прасковья Ивановна просто никогда не имела дела с собаками и все перепутала!

Я вскинул руку, чтобы объяснить недоразумение... и опустил. Кое-какой школьно-жизненный опыт у меня уже накопился. И я сообразил наконец, что моя правда здесь никому не нужна. Нужно другое: показать, как буква «а» сочетается с другой буквой – «м-м-м» в короткое слово. И потому собачка будет лаять так, как того требует учебная программа.

Наверно, в этом была своя, школьная, справедливость.

Но с моим понятием о справедливости и объективной истине это никак не увязывалось. И сделалось так обидно, что намокли ресницы. Валька сочувственно вздыхала рядом...

А вдобавок ко всему Прасковья Ивановна после урока сказала:

– Славик, попроси маму зайти в школу, я хочу поговорить с ней.

Я независимо повел плечом:

– Пожалуйста.

Неприятностей я не боялся. Мама всегда меня понимала, поймет и на этот раз. Но по-прежнему было очень горько. И я сказал в спину Прасковье Ивановне:

– Все равно собачка лает не так...

Впрочем, тихо сказал, почти шепотом, она не услышала. Зато слышал Серега Тонкошеев.

– Голова твоя, пшённой набитая. Если говорят "ам", значит, – "ам". Никогда не тывкай при начальстве, добром не кончится.

Я уже упоминал, что был Серега не по-детски мудр.

Но я не внял совету Сереги Тонкошеева. И в детском возрасте, и потом я часто тывкал при начальстве. И даже н а н а ч а л ь с т в о. Такое поведение не раз осложняло мне жизнь. Однако это уже тема для других рассказов. А рассказ о собачке я кончаю. На таком вот вздохе – задумчивом, хотя уже и без прежней горечи...

Зачем бороться с песнями

Занятия в школе начинались в восемь. Вставать приходилось в семь. Точнее, в четыре минуты восьмого. Этот маленький кусочек времени я раз и навсегда выторговал у мамы: «Ну, пожалуйста! Можно, я полежу, полежу, пока играют гимн!».

Просыпался я незадолго до семи. И с растущей тягостью в душе прислушивался к бормотанию радио. Бормотание стихало, в чутком бумажном репродукторе накапливалась напряженная тишина. Ох, сейчас... И включались куранты Кремля! С раздражающей громкостью колокола выговаривали насмешливую, безжалостную мелодию:

Длинь-длинь-длинный день впереди...

Длинь-длинь-длинь, мы спать не дадим...

А потом: бум... бум... – гулкие удары. Пять раз (потому что там, в столице, всего пять часов, счастливые московские школьники могут спать еще целых два часа!). Затем, словно еще один удар, самый громкий и раскатистый, – музыкальный аккорд. И хор:

Союз нерушимый республик свободных...

В гимне двадцать четыре строчки – три куплета и три при-

пева. И каждая пропетая строчка приближала меня к зябкому моменту, когда надо вылезать из постели.

Ох как ненавидел я эти въедающиеся в мозг слова, эту тяжкую, неотвратимую мелодию. Понимал, что это нехорошо, даже преступно, и все равно ненавидел. Словно само государство негибимой своей волей загоняло меня, семилетнего, полусонного, в слякотный осенний день, в серые школьные будни...

Это ощущение сохранилось на всю жизнь. Даже когда я сделался совсем взрослым, стал писать книжки и мог вставать по утрам когда вздумается, мелодия гимна вызывала в душе тревогу и неуверенность. Она была напоминанием о равнодушной всесильной власти, которая может сделать с тобой все что хочет.

Потом наступил девяносто первый год. Гимн сделался сперва вроде бы не обязательным, а вскоре и совсем отменным. И однажды на телеэкране я увидел, как волосатые парни с электрогитарами и синтезаторами кривляются под знакомую мелодию.

И стало обидно.

Ну да, я не любил эту музыку и эти казенные слова про "Союз нерушимый". Но все же в моей сознательной жизни другого гимна у меня и у моей страны не было. И, в конце концов, именно с этим гимном победили мы Гитлера, встречали вернувшегося из полета Гагарина, радовались победам наших олимпийцев. Зачем же теперь плевать внутрь самих

себя! Плевки – не целебный бальзам, ими не вылечишь изболевшуюся душу.

И гимн, и старые песни, с которыми жили много лет, надо спокойно сохранить для истории, а не делать из них музыку для клоунад. И ставшие ненужными знамена следует оставить в хранилищах и музеях, а не торговать ими на Арбате. А то, глядишь, сами не заметим, как распродадим не только прошлое, но и настоящее.

Вот такие мысли у меня сейчас, в девяносто втором году. Кстати, в году не менее трудном, чем сорок пятый.

И даже те минуты, когда я, первоклассник, сжимался в постели под неумолимую государственную мелодию, вспоминаются теперь без прежней зябкости, со снисходительной усмешкой.

Но это теперь. А тогда... Ох, вот уже спели и о том, что "мы армию нашу растили в сраженьях..." Вот и последний припев кончается:

Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!

Не к победе оно ведет, а к тому, что надо вылезать из-под теплого одеяла. Натягивать заштопанные, отвратительно длинные чулки, которые путаются и перекручиваются. Потом – штаны, которые норовят надеться задом наперед (хотя перепутать вроде бы трудно: зад отмечен квадратной запла-

той). Затем – тонкий разношенный свитер – он был когда-то голубым, а сейчас белесо-сизый от частых стирок. И после этого брести на кухню, бренчать там рукомойником, в котором гадостно-холодная вода.

– Зачем ты надел свитер, не умывшись? Все у тебя не так...

Мы с мамой вдвоем. Брат и сестра укатили в Одессу – учиться в индустриальном институте. В тот замечательный город, куда всем известный Костя приводил шаланды, полные кефали. Там хорошо, на юге-то. До сих пор тепло, и море рядом.

– Ты все домашние задания сделал? Смотри, а то опять Прасковья Ивановна будет жаловаться... Садись, ешь картошку... Ох, да шевелись же ты, опоздаешь ведь!

Маме тоже скоро на работу, в свою контору. А за короткие полчаса между моим и своим уходом она должна "вернуть уйму всяких дел".

Сквозь тонкую стенку слышно, как соседка тетя Лена торопит "ирода проклятущего" – Лешку Шалимова. Но я вместе с Лешкой сегодня не пойду, мы очередной раз поссорились. Семка Левитин за мной тоже не зайдет, он копается больше меня и часто опаздывает.

– Да шевелись же ты, не спи на ходу...

Я не сплю. Я надеваю сшитое из маминого суконного жакета пальто, натягиваю на уши пилотку, сую ноги в резиновые сапожки. Без такой обуви нынче до школы не доберешь-

ся. Во рту горько от подгоревшей жареной картошки.

– Мама, дай попить.

– Господи боже мой, что за несчастье! Все в последний момент!.. Пей и отправляйся... И не вздумай опять лезть в споры с Прасковьей Ивановной.

Больно мне надо лезть в споры. Лишь бы сама не приди-
ралась...

– И не суйся в лужи, обходи стороной.

Ха, обходи! Как их обойдешь, когда вся дорога на улице Дзержинского – сплошная вода и месиво. Вчера даже за-
черпнул голенищем...

– Везде непроходимо. Борька Демидов свою калошу в гряз-
зи утопил...

– Иди, иди скорее, опять опоздаешь на зарядку!

Приходить надо не к восьми, а за пятнадцать минут до на-
чала занятий. Потому что перед уроками мы еще делаем за-
рядку – прямо в классе, между рядами парт – а после заряд-
ки поем Гимн Советского Союза. Да-да, опять гимн! Никуда
от него не денешься. Говорят, это распоряжение горono.

Чтобы петь правильно, мы разучивали этот гимн с первого
урока пения. Впрочем, выучили быстро. Потому что и без
того каждое утро слышали его по радио. И скоро на уроках
пения стали разучивать другие песни.

Эти песни тоже были не новые. Или военные, или про Ста-
лина. Их часто передавали по радио, а некоторые я помнил,
с детсадовских времен.

Но все равно к каждой песне мы подступали, словно к незнакомой. Сперва за Прасковьей Ивановной повторяли строчку за строчкой – учили наизусть. Затем хором декламировали целый куплет. После этого Прасковья Ивановна, запахнув на груди серый пушистый платок и глядя в пасмурное окно, пела этот куплет тонким голосом – чтобы мы запомнили мелодию. И мы после нее пели все вместе. Очень усердно. Мокрые стекла вздрагивали. На них темнели прилипшие листья облетающих тополей.

Прасковья Ивановна морщилась:

– Надо правильно исполнять мотив. Слушайте еще раз...

Насколько я помню (а слух у меня был приличный), мелодию она пела точно. Однако я каким-то внутренним чутьем понимал, что петть перед нами Прасковья Ивановна стесняется, хотя и старательно давит в себе это смущение. Я переживал за нее. И, видимо, оба мы почувствовали облегчение, когда нашелся выход.

Оказалось, что у Семки Левитина чистый и высокий голос и петть Семка любит. И главное, ничуть не боится петть перед классом. И весь репертуар тогдашнего радио (а также кое-что сверх того) Сема знал отлично. И теперь Прасковья Ивановна говорила:

– Соломон, иди ж доске. Покажи нам, как поется эта песня.

Семка выходил. Слегка розовел от удовольствия круглыми щеками, брался за галстук матроски, вытягивал шею и...

В атаку стальными рядами
Мы поступью твердой идем!
Родная столица за нами,
Рубеж нам назначен вождем...

Самые нетерпеливые подхватывали, не дождавшись команды:

Мы не дрогнем в бою
За столицу свою...

Никакого музыкального сопровождения у нас не было. Ни пианино, ни баяна, ни даже мандолины, как, например, в первом «Б» у Анны Дмитриевны. Однако ни Семку, ни всех нас это обстоятельство не смущало.

В бой за родину, в бой за Сталина,
Боевая честь нам дорога! —

вдохновенно орали мы песню про красных конников, и делом «боевой чести» казалось нам перекричать первый "Б", у которого тоже шел урок пения, что и было слышно через две закрытые двери и вестибюль.

Кони сытые бьют копытами!..

...Когда приблизился праздник Октябрьской революции, мы взялись за песню, которую полагалось хором исполнять на торжественном утреннике. Разумеется, о «великом друге и вожде».

Вообще-то это была первомайская песня. По крайней мере, в моем представлении. Помню синее, уже теплое небо, молодую зелень тополя, распахнутое окно, ветерок надувает занавеску, а в отдалении ухает оркестр. Брат и сестра собираются на демонстрацию. Мы с мамой тоже пойдем, только не в колонне, а смотреть на демонстрантов с тротуара. Я радостно нервничаю: не опоздать бы! А жиденький репродуктор дребезжит, надрывается:

На просторах родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню...

Праздник Октября, он без тепла и свежей зелени, но все равно хороший. Как и Первомай, с оркестрами и знаменами. На главных домах города вокруг больших портретов вождей будут гореть желтые пунктиры лампочек. И будут светиться пятиконечные звезды – они сделаны из досок, затянуты красным ситцем, а внутри у них тоже лампочки. Но самое

главное – это два нерабочих и неучебных дня! (Осенних каникул тогда еще не было.) Придут гости с патефоном, мама приготовит что-нибудь вкусное (может быть, даже пельмени, если найдется мука). Артур Сергеевич принесет пару банок с бычками или камбалой в томате...

Поэтому песня "На просторах родины чудесной" всегда пахла для меня винегретом, пельменями и другими праздничными блюдами.

Полностью эту песню я уже не помню, но припев засел в голове навеки:

Сталин – наша слава боевая,
Сталин – нашей юности полет!
С песнями борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет.

Слова эти запомнились потому, что в семилетнем возрасте я часто размышлял над ними.

Три строчки из четырех были вполне понятны.

Я не раз видел снимки и плакаты, где наши танки с надписью на башнях "За Сталина" шли в атаку на фашистов. Поэтому он и есть наша боевая слава. Яснее ясного.

Во время военных парадов в Москве над Красной площадью проносились самолеты, выстроенные в большущее слово СТАЛИН. Это я тоже видел на газетных снимках, а один раз даже в кино. А летчики – они ведь все молодые. Вот поэтому – "юности полет".

То, что "наш народ за Сталиным идет", было тоже объяснимо. Разноцветный плакат насчет этого висел у нас в классе, между окнами. На уроках чтения, от нечего делать, я так часто разглядывал его, что помню со всеми подробностями.

Внизу желтыми буквами было написано: "Под знаменем Ленина, под водительством Сталина вперед к победе коммунизма!" Знамя Ленина – густо-алое, волнистое, с темным профилем добродушно сощуренного Владимира Ильича – служило фоном. На этом фоне и стоял великий вождь и лучший друг всех советских детей, следовательно, и мой. (К последнему обстоятельству я, правда, относился с некоторым сомнением. Откуда Сталин может знать про меня, первоклассника школы номер девятнадцать города Тюмени? Школа эта так далеко от Кремля! А если не знаешь человека, то как можно с ним дружить?) Сталин – в маршальском мундире, но без фуражки – вытягивал вперед руку. Показывал в сторону коммунизма, к которому следовало идти.

Что такое "коммунизм", я приблизительно знал. Мне еще давно объяснили это брат Сергей и сестра Людмила. Они рассказывали, что наступит такое время, когда не будет войны и хлебных карточек и все станут жить счастливо. В городах выстроят сплошь стеклянные дома с золотыми крышами, всюду откроют бесплатное кино, а в магазинах окажется полным-полно товаров. Бери, что пожелаешь, и тоже совершенно бесплатно.

– Всё растащат за один день, – уверенно сказал я.

– Зачем же тащить? – возразила Людмила. – У каждого и без того будет все, что им нужно. и люди отвыкнут быть жадными.

– Как это все, что нужно? – не поверил я. – И даже двухколесный велосипед будет у любого человека?

– Конечно, – отозвался Сергей и вздохнул. Велосипед был мечтой его жизни.

– И даже легковая машина, – уверенно заявила Людмила. – А если захочешь, то и свой самолет.

– Ну уж тут ты совсем завралась! – не выдержал я.

– Честное комсомольское! Это ведь при коммунизме!

Я прекрасно понимал, что иметь самолет захочет каждый. И представил себе нашу улицу Герцена времен коммунизма. Кровельные листы на крышах – не из ржавого железа, а из чистого золота (вот сверканье!), бревна стен, двери, наличники. ставни и даже водосточные трубы сделаны из стекла. И доски заборов – тоже стеклянные. А за этими прозрачными заборами стоят самолеты. Если у каждого жителя свой, то в нашем дворе – не меньше трех десятков. Поместятся ли? А как взлетать в такой тесноте? Ведь разбег нужен... Ка-ак зацепит колесами за стеклянный забор – вот звону будет!..

Но самое главное – какая теснота получится в небе!

Дядя Боря как-то рассказал мне про катастрофу. которая случилась еще до войны над Москвой. На каком-то празднике. Истребитель описывал петлю вокруг громадного, со множеством пассажиров, самолета "Максим Горький" и зацепил

его. От "Максима Горького" и от истребителя – одни обломки. Никто не спасся.

А ведь самолетов-то было там всего два! Что же будет, если каждый начнет взлетать когда вздумается! Я даже зажмурился. И тут же высказал свои соображения сестре и брату. Они меня успокоили. Коммунизм, сказали они, наступит еще не скоро, и к тому времени люди придумают, как обезопасить полеты.

– А когда он наступит?

– Ну... когда ты станешь совсем взрослым.

Я сразу перестал бояться. Время, когда я стану взрослым, лежало в таком невероятном будущем, что не стоило пока и размышлять о нем всерьез.

Но все-таки оно должно было, наступить, это время. И коммунизм. Недаром Сталин показывал в его сторону таким уверенным жестом. Он-то знал, куда показывать.

И народ на плакате бодро шагал в этом направлении.

Люди, составлявшие народ, были по сравнению с вождем словно лилипуты перед Гулливером (эту книжку я уже читал). Зато их было много: шахтеры с отбойными молотками, колхозницы со снопами, инженеры с рулонами чертежей и линейками, военные в пилотках и шлемах. И среди взрослых – мальчишка в красном галстуке и с книгой под мышкой – наверняка отличник.

Все это и означало: "Наш народ за Сталиным идет".

Непонятно было только одно: почему "с песнями борясь

и побеждая?" Зачем, дружно двигаясь за товарищем Сталиным, надо при этом бороться с песнями и побеждать их? Песни – они же совсем не враги. Они, наоборот, всегда помогают людям. "Нам песня строить и жить помогает!"

Может быть, имелись в виду иные песни? Например, те, что пели фашисты, когда нападали на нашу страну? Но тогда следовало точно сказать об этом, иначе сплошная неясность.

Несколько раз я хотел спросить про это у мамы или у Сергея и Людмилы. Но что-то меня останавливало... Ощущением, что разгадка совсем простая и при ответе можно заработать снисходительную усмешку. Надо разобраться самому.

И наконец я разобрался! Нашел!

Помогли детские стишки:

Разошлись на небе тучи.
Смех и игры на лугу.
Споря с ветерком летучим,
Дети к солнышку бегут!

Не помню, где я эти строчки услышал или прочитал. Не исключено, что в какой-нибудь книжке-раскладушке или в «Мурзилке» – много старых номеров этого журнала валялось в комнате Лешки Шалимова.

Главное – другое: слова "споря с ветерком летучим" Ветерок – он ведь ребячий друг (и нам во дворе он помогал запускать змеев-монахов), однако с ним можно спорить. А спорить и бороться – это почти одно и то же!

Однажды мы с Толькой Петровым сцепились в драке, а дядя Боря вышел на крыльцо и сказал:

– Чего зря царапаетесь, как дурные коты? Если хочется силу попробовать, лучше поборитесь по-спортивному. Устройте соревнование.

И мы послушались, устроили матч цирковой борьбы. И я уложил Тольку лопатками на кучу опилок, что скопилась рядом с дровяным сараем.

Бороться – это, выходит, соревноваться, соперничать в силе и удали!

И, значит, когда народ борется с песнями – он соревнуется с ними в задоре, веселье и силе, которых в наших советских песнях, разумеется, очень много.

Ура! Я отыскал разгадку!

Это случилось как раз незадолго до праздника Октября.

Я был радостно возбужден своим открытием. И чтобы окончательно утвердиться в его правильности, решил уточнить у Прасковьи Ивановны. Однако подошел к делу не прямо, а с хитринкой. На уроке пения, когда очередной раз проголосили вслед за Семкой знакомый припев, я поднял руку и спросил:

– Прасковья Ивановна, а зачем надо бороться с песнями, когда мы идем за товарищем Сталиным? Ну, "с песнями борясь и побеждая?"

Все притихли. Правда, зачем? Прасковья Ивановна пристально посмотрела на меня. Помолчала. Подергала на груди

края пухового платка. И, видимо, наконец поняла суть вопроса.

Она сказала сухо и утомленно:

– Ты, Славик, поешь не думая, поэтому ничего не понял. Там, в тексте песни, есть запятая. Она ставится для мысленной остановки, для раздела между словами. "С песнями, – запятая, – борясь и побеждая..." То есть народ идет за товарищем Сталиным с песнями... Идет и поет. Ясно?

– Ясно... – потерянно отозвался я.

Валя Малеева сочувственно вздохнула рядом. Она всегда жалела меня.

– В песне запятые не всегда поются, но помнить про них надо обязательно, – разъясняла между тем Прасковья Ивановна. Уж не мне, а всем. – Хотя вы еще знаки препинания не проходили, мы будем их изучать позже...

Я сидел понурившись. Значит, все дело в запятой. В крошечном крючочке. И никакого состязания с песнями. Все гораздо проще и скучнее... Опять школа загнала мою фантазию в строгие рамки.

Впрочем, знаки препинания – вещь полезная. Особенно точка. Которую мне и остается поставить в этой истории про запятую.

Как я редактировал Льва Толстого

В середине ноября у меня с Прасковьей Ивановной случился еще один памятный разговор.

Я с первых школьных дней испытывал досадливое недоумение, когда слышал, как неверно Прасковья Ивановна произносит названия некоторых букв. Вместо «эм» она говорила "м-м-м", вместо «пэ» – «п-п-п» (с паровозным припыхиванием), вместо «ша» шипела, как футбольный мяч, из которого выпускают воздух. «Эн» у нее называлось "н-н-н", «эф» – «ф-ф-ф» и так далее. Видимо, ее в свое время неправильно учили, и теперь она так же неправильно учила нас.

Но я-то с незапамятных времен знал точные имена всех букв алфавита. Как-никак я был сын преподавателя русского языка и литературы.

И однажды я почувствовал, что больше терпеть не могу. Я искренне хотел восстановить истину и заодно помочь Прасковье Ивановне.

Я поднял руку. Встал.

– Прасковья Ивановна, вы неправильно говорите. Надо говорить не "р-р-р", а «эр» и не "х-х-х", а "ха"...

Прасковья Ивановна посмотрела на меня долгим взглядом. Помню, что сжала в кулаках концы пухового платка. Помолчала, посмотрела в окно.

– Славик, то, что ты говоришь, мы будем изучать во вто-

ром классе. А пока мы просто запоминаем, как произносятся обозначаемые буквами звуки. Чтобы легче было складывать слова. Потому что... не все такие... развитые, как ты. Сядь.

Я сел. С новым недоумением в душе. Разве бывает, чтобы в первом классе буквы назывались так, а во втором иначе? Ерунда какая-то...

Но слово ерунда я сказал таким тихим шепотом, что это слышала лишь Валька Малеева (и опять вздохнула). Возражать вслух не имело смысла. Я снова убедился, что логика школьной жизни не всегда в ладу со здравым смыслом. И спорить с этим, видимо, бесполезно.

Потом про этот случай Прасковья Ивановна рассказала моему отцу. Нажаловалась. Отец в те дни как раз вернулся из Германии. Демобилизованный. Он посмеялся:

– Знаю, знаю, как ты учил грамоте свою учительницу. Эрудит...

Но смеялся отец с грустной ноткой. Потому что приехал он ненадолго. Разводиться.

В ту пору такие истории были не редкость. Война разламывала семьи не только тогда, когда отцов убивали. Иногда долгая разлука и всякие "жизненные обстоятельства" сами по себе рвали семейные связи. Не менее жестоко, чем бомбы и снаряды.

Вскоре отец уехал в Белоруссию, к новой жене. А у меня появился отчим. Тот самый мамин знакомый во флотском кителе, Артур Сергеевич.

С моей родной улицы Герцена мы переехали на Смоленскую, в похожую на каюту комнатку со стенами, обитыми некрашеной фанерой. Мама не хотела оставаться на старой квартире и каждый день слышать соседские пересуды.

Оказалось, что отчим – человек нервный, с тяжелым характером, к тому же пьющий. И немудрено. Несколько лет он «оттрубил» в северных лагерях, потому что объявлен был "врагом народа". Повезло еще – выкарабкался.

Бог ему судья. Попортил он жизнь маме и мне, но и кое-чему полезному меня научил. Например, делать рогатки, давать сдачи обидчикам, стрелять из охотничьего ружья и разбираться в истории русского флота.

Сам Артур Сергеевич этой историей очень увлекался. Особенно Первой обороной Севастополя. Рассказывал мне о знаменитых севастопольских адмиралах, о затоплении кораблей у входа в Северную бухту и о боях на Малаховом кургане и Четвертом бастионе.

От Артура Сергеевича я узнал и то, что великий писатель Лев Толстой не всегда был бородатым старцем (известным мне по портрету из книжки "Рассказы для детей"). В молодости он был безбородым изящным офицером-артиллеристом и воевал на Четвертом бастионе. В ту пору он и написал замечательные "Севастопольские рассказы". Артур Сергеевич с увлечением пересказывал их мне, потому что помнил почти наизусть.

Именно из-за Льва Толстого у меня случилось последнее

разногласие с Прасковьей Ивановной.

Было это уже в начале третьего класса.

Требовалось написать домашнее изложение. Прасковья Ивановна прочитала нам рассказ Льва Толстого «Прыжок» и велела:

– К завтрашнему дню напишите в тетрадях так, как это запомнили. Старайтесь писать подробнее, вы уже не маленькие...

И я постарался!

Тем более что рассказ был мне давно известен. Помните? На корабле, который возвращался из кругосветного плаванья, была обезьяна – любимица команды. И был мальчик – сын капитана (вот счастливчик!). Однажды обезьяна сорвала с мальчика шляпу и полезла с ней на мачту. Дразнила мальчишку. Все смеялись.

Капитанскому сыну стало обидно, он кинулся за вредным животным, и они вмиг добрались до самого верха. Обезьяна, повесила шляпу на конец перекладины, мальчик пошел по этой перекладине и вдруг испугался. Закачался. Чтобы он не разбился о палубу, отец принял единственно верное, хотя и страшное решение: приказал сыну прыгать с высоты в воду и даже пригрозил ружьем.

Кончилось, конечно, все благополучно. И я был рад за мальчика и его отца. А еще рассказ мне нравился потому, что дело происходило в море, на парусном корабле.

С самых давних пор я был неравнодушен к морю (которо-

го никогда не видел), к флотской жизни и парусам. В третьем классе я уже прилично разбирался в корабельной оснастке.

И вот я в этом изложении дал волю фантазии, отвел душу.

Рассказ великого писателя я изложил по-своему. "Мальчик не хотел показать, что ему обидно, — писал я. — И чтобы это не показать, он закричал пошел все наверх и бросился за вредной макакой по вантам"...

Именно "по вантам", а не "по веревке", как было написано у Льва Николаевича. Я не мог позволить, чтобы мои знания о такелаже и рангоуте оставались мертвым грузом. Я уточнил насчет мачты, написав, что это была "грот-мачта". Добавил такую деталь, что "обезьяна покривлялась на марсовой площадке". И наконец, сухопутное слово «перекладина» я заменил строгим корабельным термином "рей". "Обезьяна повесила шляпу на нок рея". "Мальчик отпустил фал и ступил на рей".

В отличной оценке я был уверен. Писал я без ошибок, а что касается содержания... Ну, не могла же Прасковья Ивановна не оценить по достоинству мою морскую эрудицию!

Через день, в конце последнего урока, Прасковья Ивановна раздала нам тетради с изложением.

— Дома посмотрите ваши ошибки и разберитесь в них.

Подавая тетрадь мне, она глядела в сторону. И правильно! Не хочет смущать меня излишними похвалами.

Я настолько был уверен в своем блистательном успехе, что открыл тетрадку лишь на улице.

Белые листы выглядели так, словно на них рассыпали и раздавили клюкву. Все мои морские термины оказались жирно, с кровавыми брызгами перечеркнуты красными чернилами. Везде над словом «рей» было написано "перекладина". «Ванты» заменены были "веревкой". А слова "пошел все наверх" Прасковья Ивановна зачеркнула без всякого исправления.

Под изложением красовалась двойка ростом с мой мизинец. И с похожей на кляксу точкой.

Я сел на краешек деревянного тротуара, напротив крыльца белой церкви-библиотеки. Сунул тетрадку в кирзовую полевую сумку. Съежил плечи и замер в горьком изумлении.

Огорчала не сама двойка, фиг с ней. Но за что меня так?

Ведь перекладина на мачте в с а м о м д е л е называется "рей". И ванты на корабле есть. И марсовая площадка. Просто Лев Толстой этого не знал. Он был, конечно, замечательный писатель и храбрый офицер, отважно воевал в Севастополе. Но ведь не на море, а на берегу. Он был сухопутный человек и просто не знал, как что называется на парусном судне.

А я знал. И что плохого, если я уточнил и поправил Толстого? Ведь я же все правильно написал!

Я не плакал. Я даже не обиделся ни на Прасковью Ивановну, ни на судьбу. Я был просто подавлен вопиющей несправедливостью.

Даже сейчас мне, грузному пожилому дядьке, жаль того

девятилетнего мальчишку. Вот он – лопоухий, белобрысый – понуро сидит на краю шаткого тротуара. В тесной суконной курточке с вельветовой вставкой на груди и заштопанными локтями, в застегнутых под коленками брючках, в пыльных брезентовых башмаках и в кепочке (кемеле!) с матерчатой кнопкой на макушке. На кемель этот тихо падают сухие березовые листья. Сентябрьский день – теплый и безветренный. Опять в воздухе висят пушистые семена белоцвета. К тому же завтра воскресенье. Но в душе – ни капельки радости. Подойти бы к мальчишке, хлопнуть по плечу: "Не горюй, все впереди..."

Никто не подошел. Только Семка Левитин, пробегая, окликнул:

– Че сидишь, айда домой! – И даже не остановился, не оглянулся.

Впрочем, сидел я недолго. Поразмышлял еще, пожал плечами и пошел домой.

Дома я без всякой боязни показал тетрадь маме и Артуру Сергеевичу. Отчим добродушно хмыкнул. Высказался в том смысле, что "от них, от не нюхавших моря женщин, чего еще ждать". Мама тоже меня не ругала. Сказала только, что писать изложение надо так, как читает учительница, а не городить отсебятину.

– Но ведь я же все правильно написал! Прасковья просто не понимает!

– Я вот покажу тебе "Прасковью"! У Семки научился?..

Надо же, учительница н е п о н и м а е т! Лев Толстой, потвоему, тоже ничего не понимал?

– Тоже... – буркнул я.

– Толстой писал этот рассказ для маленьких деревенских детей и старался, чтобы им все было понятно. Вот и не использовал всякие корабельные слова.

– Но я-то не для деревенских!..

– Вот когда ты будешь сочинять свои собственные книжки, пиши как тебе вздумается. А великих писателей нечего редактировать, – сказала мама.

Со временем я воспользовался маминым советом. Но в тот давний сентябрьский день я еще не знал, что и правда буду сам писать книги про корабли и путешествия. Хотя в ту пору на моем счету уже был десятистраничный морской роман "Остров Привидения", написанный в сорок шестом году...

Заревел мой полугодовалый брат Леська, и мама отвлеклась от литературного спора. Но я все же пообещал ей вслед:

– Все равно я понедельник скажу Прасковье Ивановне... что неправильно она...

Мама с Леськой на руках оглянулась.

– Ничего ты ей не скажешь. Больше ты в эту школу не пойдешь. На днях мы переезжаем на улицу Нагорную.

Как? Уже? Я знал, что контора, где работал отчим, арендовала две комнаты на какой-то дальней улице. Потому что не могут четыре человека обитать в фанерной каютке. Но не

думал, что переезд – дело такое скорое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.